ЖИТУХА

СЕНСАЦИЯ

Железный свет, или Время бешеных волков

Алексей Воронков

К читателю

Новые реформы в России, увы, явились к нам не только с добром, но и с тем злом, которое всегда сопровождает доброе. Белое и черное – они всегда вместе, потому как мир по замыслу чьего-то высшего разума, дабы прочнее стоять на своих основах, должен быть уравновешен двумя противоположными силами. Но человечество, в меру его стремления к совершенству, не принимает этих истин и потому хочет положить на чашу добра энергию новой добродетели. Но весы истины, немного качнувшись в сторону людских желаний, все равно рано или поздно придут в уравновешенное состояние. Но это лишь вновь подхлестнет человека к поискам доброго на земле. И он ищет это доброе, ищет, но чаши весов так и продолжают колебаться на одном уровне, более того, в иные исторические моменты та, что находится под грузом зла, даже начинает ближе клониться к земле, в то время, как чаша с добром уходит куда-то за горизонты людских надежд...

Вниманию читателя мы предоставляем отрывки из романа благовещенского писателя Алексея Воронкова "Железный свет, или Время бешеных волков", который полностью выйдет в этом году в издательстве "Зея". Это роман-сенсация, который, надеемся, станет бестселлером. Для этого у него есть все основания: его отличает не только сенсационность, но и остросюжетность, реалистичность, философичность, напряженность и неожиданные повороты событий. А кроме того, роман заряжен жестокой правдой сегодняшней жизни, он – отражение наших чувств и мыслей, наших страстей и желаний. Он есть тень нашего отчаяния и свет наших надежд.

Часть первая

1.

... Лязгнув, дверь камеры отворилась.

– Костров, на выход! – скомандовал "дубак".

"Снова допрос!.." – вздрогнул Глеб, и тотчас же тело его напряглось. Скорее всего у него уже начинал вырабатываться некий условный рефлекс, когда организм при одном упоминании о допросе каменел в страхе. И было отчего: на допросах били нещадно.

Какое-то мгновение Глеб оставался в том положении, в каком его застала команда: он лежал на спине поверх одеяла, не в силах раскрыть глаза. В таком состоянии он еще мог находиться по другую сторону реальности, поэтому он тянул время. Знал, как только он откроет глаза – его ослепит пронзающий душу железный мрачный свет, который приходил по утрам в эту камеру через зарешеченное окно из того, реального мира...

Костров встал со шконки и некоторое мгновение остолбенело глядел на "дубака", не в силах сделать шаг. Болело тело, болело лицо; глаза, заплывшие в кровоподтеках, едва ворочались в глазницах –результат прежних допросов с пристрастием, которые шли и шли чередой. Но физиологическая боль не так действовала на него, как душевная – Глеб начинал, как ему казалось, сходить с ума.

Дверь за ним, лязгнув, захлопнулась.

– Руки за спину – вперед марш!

Они шли гулким длинным коридором, где было сумрачно и тошнотно пахло коктейлем из человеческих пороков. Мимо сновали уборщики, которые собирали алюминиевую посуду из камер – закончилось время завтрака. Порой, скрипя "хромачами", вдоль коридора спешно продвигался какой-нибудь запоздавший на работу офицерский чин или же вооруженный штык-ножом молодой "дубачок", позванивая ключами, спешил в камеру за подследственным, чтобы увести его на допрос.

– Холодно на улице? – не оборачиваясь на конвоира, высокого смуглого парня, проходившего срочную службу во внутренних войсках, спросил Костров.

– Не разговаривать! – прикрикнул на него тот. А потом, сжалившись, видно, над Костровым, который, низко наклонив голову, неторопко передвигал свои израненные ноги, сказал: – Холодно. Крещенские морозы наступили...

Вот ведь как – уже и Крещение подошло, сиротливо подумал Глеб. А он перестал следить за календарем – не о том были думы. За этими тяжелыми думами даже не заметил, как прошли новогодние праздники и православное Рождество. Теперь бы и о Крещении не вспомнил, кабы не солдатик.

Майор Щербань уже сидел на своем месте – затылком к окну, за которым была воля. Но окно было зарешечено железными прутьями, поэтому Кострова туда даже не тянуло взглянуть: воля в крупную клетку не бывает, воля – это, это... У Кострова даже не хватало слов, чтобы дать точное определение такому огромному, будоражущему душу понятию, как "воля". Впрочем, за три с половиной месяца, которые Глеб провел в следственном изоляторе, в нем беда перезрела в безнадежность, которая притупила все его чувства – даже волю он теперь воспринимал скорее абстрактно, чем реально.

Когда Костров вошел в кабинет для допросов, Щербань занимался своим излюбленным занятием: он шлифовал маникюрной пилочкой свои ногти. У него были холеные руки с длинными тонкими пальцами, и это никак не вязалось с тем, что перед Костровым находится настоящий палач, у которого никогда не было ни жалости, ни сострадания к своим жертвам. Он постоянно был заряжен на зло.

– Ну, Костров, ты сегодня готов подписать протокол?

Это был первый вопрос, с которого Щербань ежедневно начинал свой допрос Глеба. После этого он вызывал двух прапоров-мордоворотов из сизовской команды, и те помогали ему "обрабатывать" Кострова, который отказывался давать признания.

– Майор, ты же знаешь – я не виновен... – по привычке пожал плечами Костров и низко опустил голову.

В жизни он ее не опускал – слишком был гордым и уверенным в себе человеком, – а здесь стал опускать. Видно, ломался потихоньку парень. Видно, стал понимать, что он есть обыкновенная букашка в этом мире, которая доброго слова не стоит. А еще недавно Глеб считал, что человека иначе, как с большой буквы, нельзя величать, ибо, по его разумению, это есть существо высшего порядка, заслужившее того, чтобы природа чествовала и уважала его. А тут вот оказалось, что люди – это те же, по существу, несчастные мокрицы, которых видимо-невидимо в сизовских сырых камерах –холодных зимой, и душных, до смерти, летом.

– Ну тогда я зову помощников?

Это тоже обычной вопрос, который Щербань задает походя – так, формально, сам не обращая на него никакого внимания, потому что, задавая его, он одновременно нажимает на кнопку вызова.

Как всегда, прапоры пришли на вызов незамедлительно. Это были какие-то безликие тени с грудой бицепсов и мертвыми глазами. Словно роботы, они функционировали в этой жизни не по велению души, а по любым, даже самым безмозглым приказам. Одетые в камуфляжную форму, эти два казенных мужика зарабатывали деньги на чужой беде. Что они вообще чувствовали? Как воспринимали эту жизнь? Такие вопросы однажды появились в голове Кострова, но они держались в ней недолго, потому что камуфлированные роботы быстро выбили эти вопросы из его головы, как пыль из ковра. В это утро Кострова били так же старательно, как и в предыдущие дни. Кабинет был тесным – большой стол следователя занимал слишком много места, – поэтому трем габаритным мужикам приходилось применять изобретательность, чтобы в этой тесноте искусно проводить операцию под исторически традиционным названием "пятый угол".

Избиение, а его даже не назовешь пыткой, ибо это и в самом деле было чистой воды обыкновенным избиением, начиналось как всегда с раскачки, или разминки. Первым вколачивал свой холеный кулачок в лицо Кострова Щербань. Потом по очереди били прапора. Первые удары были какими-то незлобливыми, можно даже сказать, интеллигентными. После домашних пирогов, которые, как известно, размягчают сердце, палачи поначалу никак не могли сосредоточиться на профессиональной работе – были внутренне вялыми и скованными. Но вот брызнула первая кровь – и в них, как в зверях, начал пробуждаться дикий аппетит.

– Будешь подписывать протокол?! – увидев первую кровь, брызнувшую из носа Кострова, взвизгнул как-то по-бабьи Щербань.

– Майор, ну ты же знаешь...

– Вали его на пол, ребята, и сапогами, сапогами!

Несколькими ударами в голову Глеба уложили на пол. Сознание прыгало в нем, как развеселившийся ребенок – то улетит, то снова приземлится.

– Сволочь ты, Щербань, креста на тебе нет... – корчась от боли, стонал Глеб. Он понимал, что главное зло здесь не эти прапора, а майор – к нему он и взывал.

– У меня-то, подонок, крест на месте – на, посмотри! – орал Щербань, вытягивая из-под форменки всамделишный православный крест. – А вот где он у тебя?!

– Носить крест – это еще не все, нужно человеком быть, а ты –нехристь! – принимая телом удары ног, продолжал корчиться от боли Костров.

Это подогрело Щербаня:

– Ребятки, по почкам его, по почкам – пусть кровью поссыт, может, поумнеет! – верещал главный палач. И те били, били, били.

Щербань тоже порой, изловчившись и поймав Глебов бок на мушку, всаживал в него свой сапог.

– Вот тебе, вот тебе, гад!

– Нехристь ты, нехристь... – стонал Глеб, задыхаясь от собственной крови. – В ад попадешь, палач проклятый... Господи, да что же... что же ты смотришь? Почему... не накажешь палачей?.. Фашисты, нехристи... Убивайте, убивайте... Все равно правда за мной...

(Продолжение следует.)

Мужской разговор

ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ ОБРАЩАЙТЕСЬ В РЕДАКЦИЮ. ТЕЛ. 45-49-79.

МГ ЖИТУХА

СЕНСАЦИЯ

Железный свет или Время бешеных волков

Алексей Воронков

(Окончание. Начало в N 6)

Потом его волокли длинным гулким коридором назад – в камеру.

– Стоять! Лицом к стене! – кричали конвоиры идущих навстречу подследственных. Когда тащат коридором после допросов таких, как Глеб, всегда здесь так кричат.

В полупотухших мозгах Кострова этот крик стоял сплошным гулом. Все кричало, гудело, кричало, гудело... Он слабел рассудком, сходил с ума. Он ничего не соображал, даже того, что допрос окончен и его волокут в камеру. Конвоиры, а их теперь было уже двое "дубаков", потому как одному дотащить большое бездыханное тело Кострова до камеры было практически невозможно, сыпали густым матом, пытались поставить Глеба на ноги. Порой это им удавалось, и подследственный делал несколько неуверенных шагов, но затем ноги его делались мертвыми, он валился на пол и его тащили.

Когда "дубачки" забросили Глеба в камеру, к нему подошли двое сокамерников и затащили, словно тушу убиенной свиньи, на шконку. Так происходило в последние дни почти ежедневно: палачам надоело сентиментальничать с несговорчивым Костровым, и за дело взялся Великий Инквизитор Щербань – так его мысленно окрестил Глеб.

Целый день пролежал Костров на нарах, даже в обед не встал, когда принесли жратву. Попросил только у сокамерников воды – те дали ему хлебнуть чифиру, и он забылся в глубоком сне. А когда солнце, торопко проплыв мимо тюремного окна, скрылось с глаз, когда в холодной и сырой камере, где было восемь коек, а зубами стучали два десятка обреченных на беду разновозрастных мужиков, стало еще тоскливее от сгустившегося полумрака, Костров очнулся.

Первым делом он попробовал пошевелить конечностями, и это ему удалось с трудом. В таком положении, когда от боли нельзя было даже повернуть голову, он чувствовал себя прекрасно приготовленной отбивной котлетой, где нет уже ни одной целой косточки – вся плоть его была сплошным кровоподтеком.

2.

– Эй, журналюга, ужин принесли – жрать будешь? – спросил его кто-то.

– Нет, – ответил Глеб, потому что он теперь не понимал, что такое аппетит. Это был мертвец в живой пока что еще оболочке. Но долго ли такое могло продолжаться?

Чтобы как-то вдохнуть в себя слабую надежду на жизнь, Костров стал работать мозгами. Мозги болели, но он, превозмогая боль, стал думать. Первым делом он ужаснулся тому, что еще жив. Это ж надо – какой живучий, – попробовал он иронизировать над собой. Видно, из теста крепкого замеса родители его лепили. Жаль только, не образумили его, когда он, бросив учительствовать в школе, подался в газету. Романтики, видите ли, ему захотелось! В дальние странствия потянуло, к славе, к признанию... А может, все было не так? Может, ему казалось, что в школе, среди бабонек, он так и останется до старости этаким серебряным петушком, зряшно суетящимся меж стареющих курочек? Этаким невезунчиком, не пошевелившим и пальцем для того, чтобы как-то испытать себя в бурях кипящего страстями времени. Ему казалось, что газета – это как раз та живительная среда, где люди дышат воздухом свободы и жаром вселенских страстей. Это не школьная клетка для плененного попугая – это путь испытаний и приключений. Эх, если бы он знал, на что променял эту запорошенную пылью более-менее относительного душевного спокойствия и благополучия клетку!

Чем он жил раньше? Неужели ему было так скучно в школьном уюте среди этих наивных детских лиц? Среди толкотни придуманных уже давно неживыми писателями книжных героев? Плохие ли, хорошие ли –они все равно были нереальные и потому совершенно безобидные...

Ах какими милыми кажутся сегодня те литературные негодяи, на примере которых он когда-то учил детей, как не надо жить. "Через базарную площадь идет полицейский надзиратель Очумелов..." Боже мой, с улыбкой прокаженного думает Костров, вот уж нашли чудовище! Да Очумелов в его новой шинелке да с узелком в руке, обрушивший на собачку свой полицейский гнев, – это ведь агнец по сравнению с нынешними полицейскими самодурами и преступниками. Хамелеон? Да, конечно, Очумелов не лишен этого порока, но порок-то этот, хотя и дурной, сегодня кажется детским. Так дети, дабы их не наказали родители за шалости, начинают приспосабливаться к семейной обстановке, подбирая по обстоятельствам себе то лицо, которого требует ситуация. А вот Щербань лица не подбирает – он по ним бьет своим белым холеным кулачком.

Кстати, на допросах, насколько Костров знает, били и раньше. Но бывалые говорят, что сейчас бьют гораздо сильнее и больше, даже пытки применяют. Веяние времени: насмотрелись некоторые идиоты, воспринимающие все в жизни буквально, плохих американских фильмов про полицейских – вот и решили приспособиться к мировой цивилизации, применяя, как им кажется, цивилизованные методы ведения допроса. А на самом дело это оттуда, из средневековья, где инквизиторы, – дабы не обременять себя соблазном мыслить и анализировать, – выбивали признание под пытками. Чудовищно это все! И тогда было чудовищно, и сейчас... Особенно сейчас, когда мы, кажется, стали намного совершеннее в своем разуме и в своих поступках. Увы, стержень невежества и первобытных порывов в нас остается прежним.

...Ну а тот же Молчалин? Разве это негодяй? "Там моську вовремя погладит, тут в пору карточку вотрет..." Услужливый? Готовый до гроба служить всякому, кто его "кормит и поит, а иногда и чином подарит?" Боже, какой грех: он даже готов – представляете! –принять вид любовника "в угодность дочери такого человека".

Кострову больно становится при мысли о том, что сегодня услужливые ребята куда как покруче литературных. Если уж берутся услужить кому – брызги крови летят по сторонам. Вот и Щербань из этих новых услужливых. А сколько их таких развелось, что режут, бьют, душат, стреляют...

Сон разума, говорил великий испанец Франсиско Гойя, рождает чудовищ. Верно, думает Костров. Разум сегодня спит, – рождаются монстры в человечьем обличьи. И они начинают править миром. Как далеко до них всяким там салтыковским тарелкиным, угрюм-бурчеевым, глумовым и прочим. Это другие негодяи, и уже не литературные, – реальные. Это они сегодня аплодировали бы порядкам Единого Государства, описанным Замятиным в его романе "Мы", где все движется под бой барабана, где все общество разделено на единицы, составляющие взводы, роты, полки, где казарма, а по сути тюрьма, есть высшая степень людских мечтаний в некоем страшном Едином Государстве.

Одобрили бы, видимо, эти нынешние сокрушители общественных нравов и мир, созданный Оруэллом в его романе "1984". Там действует вездесущая полиция, которая зорко вслушивается и всматривается во все, что происходит в страшной стране Океании. И если что не так – кара, кара, кара... Война – это мир, свобода – это рабство, говорят в этой стране. Страшно, страшно, страшно! Но ведь мы сегодня кричим на всех углах, что ушли от такого государства, возмущенно думает воспаленными мозгами Костров, считаем, что живем уже в другом, где есть больше прав и свобод, больше справедливости и достоинства. Где это все? Он, Костров, лежа сейчас избитым и униженным на тюремной шконке, понимает, что это все вселенский треп, когда кто-то упорно хочет доказать кому-то, что ад это рай и что старый рваный презерватив при старании можно с успехом заштопать. Все это чушь собачья! Все это выдумки людей с ржавыми мозгами и отекшей от сволочизма душой.

...В камере повис сумрак. До отбоя оставалось еще много времени, и народ, чуток утолив голод тюремной бескалорийной жратвой, приспособился вечерять. Было холодно и в то же время духотно от стоявшего стеной табачного дыма. Курили беспрерывно, и некурящий Костров страдал. Ему постоянно не хватало воздуха.

У Глеба от лежки в одном положении онемела спина. Он попробовал повернуться на бок, но не смог: тело болело так, что малейшее шевеление болью отдавалось в сердце. Чтобы отвлечься от боли, Глеб попробовал перенестись мысленно за эти тюремные стены – не смог. Долгие месяцы, проведенные им в СИЗО, начинали стирать ощущение иной реальности. Перед его глазами маячила вытянутая кишкой от дверей сумрачная камера с обшарпанными стенами, исписанными кличками, сроками и приветами кентам. В ней все та же ржавая массивная параша в правом от двери углу, железные койки-шконки в два этажа с забетонированными ножками, большой грубо скроенный стол под зарешеченным окном, стоящий на табуретке бачок с водой, к ручке которого привязана алюминиевая кружка... А еще там была вешалка с одеждой, вечно клацающая тяжелая дверь с кормушкой-прорезью с заслонкой, напротив двери, у окна – две трубы отопления, которые и зимой и летом были почти одинаково холодны.

Все камеры, в которых он побывал за эти месяцы, были похожи одна на другую. Отличие порой состояло лишь в том, что какой-то было больше, как говорили здесь, койко-мест, в какой-то меньше. А в общем-то одна беда. Даже окна одинаковые – через них было невозможно взглянуть на то, что творилось за этими стенами: с улицы к окнам были прибиты жалюзи. Только неяркий свет, робко вбегающий в камеры извне, говорил о том, что мир не разрушен, что жизнь еще где-то теплится, а следовательно есть какая-то надежда...

Но Костров уже перестал жить надеждами: понимал, что, в отличие от многих своих тюремных соседей, у него меньше всего возможности увидеть когда-то волю. Он меченый. Даже, может быть, самой смертью. Таких просто так отсюда не выпускают, пока не выпустят им кишки. Самая незавидная доля у арестантов, которые опасны для сильных мира сего. Костров принадлежит именно к этой категории.

В камере было колготно. Те сокамерники Глеба, чья очередь была мять шконки, не упустили возможности воспользоваться этим и теперь расслаблялись на заправленных грубыми синими одеялами койках. Другие после ужина играли в самодельные карты или, потягивая из кружки, пущенной по кругу, чифир, вели незатейливые разговоры. Костров вдруг с ужасом подумал, что в этом мире ему придется жить до окончания дней своих. И сердце его на мгновение остановилось от того колоссального напряжения, которое он испытал, думая об этом.

Душа его, ощутив окончательную безысходность, лихорадочно заметалась, и в нем заговорило прошлое, за которое он вдруг в поисках спасительной соломинки попытался ухватиться.

Роман-сенсация Алексея ВОРОНКОВА появится на книжных прилавках Приамурья уже в этом году.

Мужской разговор

ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ ОБРАЩАЙТЕСЬ В РЕДАКЦИЮ. ТЕЛ. 45-49-79.